

это заметили даже писатели аннотации на «скорее всего» пиратской копии, которую я смотрел (ибо «удавлюсь»), а не буду тратить на такую ерунду деньги на лицензионные копии) – лишний. Человек по определению в этом фильме – жертва. Речь идет о том, что он попал впросак между двумя типами монстров. Но это суть не два типа, но один, поскольку один из них – чужой – выводится на забаву хищника.

Такова, в общем то альтернатива. Прескверная просто. Или прескверная во всех отношениях.

Сценарий фильма – и это не вольная или случайная аналогия – разворачивается по тем же силовым и смысловым линиям, что и ситуация в глобальной культуре. Чужой (код) сражается на мировой арене с Хищником (деньгами). И это то, что, собственно, определяет основные линии и интриги происходящих процессов. Ситуация, как нам представляется прескверная во всех отношениях.

Особенно в России. На Западе уже как то свыклись и постарались дать простор Ч. У нас же, как и положено в бюрократической и нищей стране, отдают предпочтение Х.

Поэтому единственный рецепт, который можно предложить второпрестольной, поскольку у нас, в связи «с особой геополитической ситуацией», есть еще шанс влипнуть в просто прескверную историю глобализации, а не в прескверную во всех отношениях ситуацию современной России. Как в анекдоте. Проголосовать на референдуме за независимость Санкт-Петербурга. Потом объявить войну Финляндии. И сразу же, не дав возможности обдумать противнику ситуацию, сдать Финляндии. Тогда, возможно, мы окажемся в лапах Ч – кода, но никак не Х.

И.Ю. Ларионов

ТЕЛЕСНОСТЬ И ЯЗЫК ОПЫТ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА ОТ ФЕНОМЕНОЛОГИИ ЯЗЫКА К ЕГО АРХЕОЛОГИИ

«...тщеславие ученых, которые хотят, чтобы то, что они знают, было бы столь же древним, как мир».

Дж. Вико. Основания новой науки. IV Аксиома.

Язык как объект лингвистики конструировался историческими формами этой науки, и на них влияли образцовые языки. Например,

латинский, долго бывший языком *par excellence* среди варварских наречий. Не только термины грамматики, но и сами категории берут свое начало в грамматике латинского языка, а ведь это грамматика Вульгаты. Как на этом основании изучать язык Корана? Еще латинский как возможный язык Града Божьего на земле соотносился с языком Земного рая, вступая в спор с иными претендентами (древнееврейский, ирландский).

Мы любим философа Фуко, и он говорит нам, что язык не может описываться как история мысли. Да, желаемая конструкция языка, которую мы могли бы изучать, может состояться не только образцами, но вещами более приземленными.

Возьмем, с другой стороны, проблему времени. В абстрактных понятиях о языке как грамматической системе (и даже как действии) игнорируется временной его характер, непосредственная включенность в него говорящего. Еще Секст Эмпирик (Против ученых. I. 124) заметил, что понятие звука наталкивается на непреодолимую преграду в виде понятия о времени. Проблему сформулировать можно и так. Порядок речи можно рассматривать как с точки зрения самой речи, так и с точки зрения языка. При этом язык выступает законодателем речи, предстает в роли категорий и схем для нее. В этом смысле язык видится вневременным основанием временного потока речи. Анализ, основанный на понятиях языка, вычленяет структуру, все элементы которой выступают в каждый момент речи вместе, как целое, являясь таким образом основанием для всякого возможного понимания. Это можно назвать «презумпцией совершенства». На основании этого можно построить, например, таблицу спряжения глагола или схему каждого конкретного предложения. Эти схемы будут условием определенности и понятности речи в каждый ее момент, но сами они мыслятся вместе и могли бы быть выражены «по смыслу», в некоем одном иероглифе или звуке, которые суть не только *flatu vocis*.

Порядок языка как человеческой вещи должен следовать порядкам других человеческих вещей.

Может ли, например, философская мысль игнорировать то, что употребляемые ею «слова и выражения» восходят к терминологии охоты и кулачного боя: «ускользание мысли», «занять твердую позицию», «обойти проблему», «случайно напасть на верное решение». Само славянское слово «мысль» соответствует современному «охота» (которое, по замечанию А. Тимофеевко, в свою очередь

значит «желание»). Латинская терминология военизирована; «speculatio», например, значит «разведка».

Мир человеческих вещей по сути подручный, хотя и не всегда ручной. Руки же, как говорит Григорий Нисский (Об устройении человека, 8), приданы телу человека по природе, чтобы доставлять мир. И руки присущи именно словесной природы человека, поскольку, если бы человек был лишен рук, то у него, как у животного, части лица были бы устроены соответственно с потребностью питаться, и никакой способности к речи не было.

Итак, человек говорит на языке, это говорение является речью. Конфигурации и порядки речи и соответствующие порядки телесности, таким образом, должны входить в порядки языка. О языке тела как первом порядке языка стал говорить уже Джамбаттиста Вико. Соответствующие рассуждения мы найдем в разделе «О Поэтической Логике» второй книги его «Оснований новой науки». Язык жестов-указаний был языком богов, т.е. боги были первыми словами, которыми «Поэты создавали из тел Мифы». Однако, «позднее, когда сила абстракции увеличилась, эти огромные фантастические образы уменьшились и были приняты за маленькие знаки». Этот божественный «иероглифический» (от греч. *hieros* – священный) язык сменился языком Символов или Гербов века Героев, а затем языком Письменным века людей. История Языка вместе с историей Метафизики, Экономики и Политики всегда была вписана в порядки жизненного мира людей. Здесь мы находим другое понимание того, что собственно следует считать языком. Если язык Века людей – это язык слов и букв, то в Век Героев говорили и писали символами, гербами и давали имена. Доказательством этого считает Вико то, что «словом» в древних языках называют «имя».

Посмотрим теперь на дело пристальнее. Принципиальная соразмерность языка миру человеческих вещей конструируется ситуацией речи и участием в этой речи телесности. Такие простейшие видимые единицы, как тело, голос, место речи, действие, письмо – вот они организуют ситуацию языка и его собственные порядки.

Говорением на языке в одном случае становится порядок голоса, в другом – порядок мистерии, и, наконец, – текста. Голос, мистерия, письмо оказываются во всех случаях гораздо более широким горизонтом, нежели язык, и они предопределяют его как человеческое установление.

То есть обнаруживаются три совместных схемы речи, организованные в порядке голоса, мистерии и текста, и мы усматриваем соответствующие порядки языка и телесности. Каждая схема речи неизбежно включает определенный порядок языка, порядок телесности и человеческие сообщества. Разделения языка неизбежно влекут за собой разделения телесности.

Рассмотрим их по-отдельности.

Это:

Схемы речи и порядки языка

I

Голос выступает как первоначальная «субстанция» языка. Он может заменить и сам язык.

Голос матери – первое попадание человека в мир языка, а вслед за ним во все возможные символические ряды. Узнавание по голосу предшествует телесному узнаванию. Причем такой голос всегда звучит со стороны.

В мир вещей изначально вписаны их голоса, а точнее, мир вещей обнаруживается человеком как данный мир голосов. Вполне вероятно, что разделение на мужской и женский рода ведет свою родословную к разделению на женскую и мужскую речь и на женский и мужской язык, отголоски чего мы можем наблюдать в шумерском и японском языках. Также возможно, что и это разделение ведет к узнаванию людей и их жизненных миров по голосам, – поскольку мужской голос весьма отличен от женского.

Правда, все это верно в том случае, если человечество действительно делится на мужчин и женщин. Если, например, – на диких и домашних, то все должно быть иначе.

Принципиально важный момент для речи – она должна быть услышана. Тело дает вещи, голос притягивает слушателя. Он организует пространство, центром которого становится тот, кто говорит. Под этим «пространством» не имеется в виду «место». Точки этого пространства – это слушающие и говорящий, указывающий на своих слушателей (подобно Адаму, дававшему всем вещам имена). Это круг, в который собираются слушатели. В это пространство вовлечены и слушающий, и говорящий. Это можно назвать «схемой». Такую схему речи будем называть первой схемой речи. Она может быть узнана и в греческой агоре, и в современном школьном классе. Всякое высказывание возможно по такой схеме.

Первая схема речи основана на показе и приносит в язык высказывание и приказ, причем «язык» должен предоставить основу для всех возможных высказываний.

Схемы высказываний основаны на принципе необходимости и исключения. Всегда чувствуется необходимость говорящего – ни класс, ни агору нельзя считать таковыми, пока тот, кто владеет правом слова, не займет свое место. При этом право голоса может быть переприсвоено, а слушатель обращается от одной говорящей инстанции к другой, пока сам не займет место говорящего. Э. Бенвенист говорит, что язык устроен так, что позволяет каждому говорящему, когда тот говорит о себе «Я», как бы присваивать себе язык целиком. Переход от того, на что может быть указано как на «он», к позиции «Я» значит и изменение телесности. Человеку дается возможность речи, а языку – говорения.

Из такой речи исключаются случайные элементы. Точнее, ни один из элементов этой речи не считается случайным. Речь, слово всегда должны иметь смысл, а язык – быть носителем смысла. Нас никогда не покидает ощущение, что говоримое должно что-нибудь значить, и в первую очередь для нашей телесности. Поэтому – в пределе, кажется, что и философские принципы кого-то к чему-то призывают.

В ожидании смысла, о котором говорит Гадамер, рассуждая о структуре предпонимания, можно углядеть напряженные фигуры греческих судей, ожидающих прихода Сократа на суд и прикидывающих (набрасывающих) те или иные возможности будущих событий; строй солдат, терпеливо переносящих сложные погодные условия, наступающую тьму и бурю в ожидании приказа командира.

Нельзя не заметить, что голос как речь, и вслед за ними язык оказываются в этом отношении инстанциями власти. Похоже замечает Лакан, говоря, что положение церкви и армии сохраняется во многом за счет того, что они сохраняют свой язык. Увещевания матери, приказы главы охотничьей группы и голос оратора на агоре в данном отношении равноположены. Ответом на такую речь будет действие – может быть занята либо позиция слушания и послушания, либо порядок речей будет изменяться до тех пор, пока слушающий не присвоит себе место говорящего.

К телу, вовлеченному в речь или слушание, прилагается не просто дисциплина, но прямо-таки дрессура. Речь Демосфена о венке,

например, в современном издании составляет десятки страниц, а сам Сократ говорил настолько много на своей защите и так часто повторялся (употребляя при этом такие сложные грамматические формы), что появляется соблазн оправдать его судей.

2

Фигуры речи оратора – это построение временных порядков высказывания. Здесь впервые появляется предложение. Принципиально возможны две организации временности речи: от риторики и от философии, из которых только первая является новой организацией языка, вторая же вынуждена иметь дело с языком на основании уже имеющегося усмотрения божественных порядков. Не речь организует язык философии, но неослепленный взор и то, что он усматривает. Тот же взор организует порядки геометрии и музыки. Отсюда ведут свое происхождение науки о построении государства и новой человеческой телесности (Платон. Государство, VII 522-523). Несомненный «аполлонический» характер этой телесности, о которой очень много заботятся, сопрягается с музыкальными и геометрическими порядками, согласующими душу и взор, направленный на созерцание совершенства.

Классическая античная риторика сложным образом совмещает в себе «аполлонический» характер такой телесности с «дионисийским». Она имеет все, из чего можно построить хорошую грамматику: она толкует о гласных и согласных звуках, о словах и их значениях. Тем не менее, порядки этих элементов никак не выстраиваются в сети грамматических таблиц. Исократ учит (фр. б), что есть звуки согласные и гласные, и они составляют слог, однако «в речи не должно быть столкновения гласных потому, что тогда речь будет спотыкающейся; и нельзя одно слово кончать, а другое, следующее за ним, начинать одним и тем же слогом». Это правило, сформулированное по классической схеме закона как должного, присущего каждому человеческому установлению (место среди которых занимает и нынешняя грамматика), организует высказывание в «фигуры речи». Правильная, подлинная речь организована пафосом и ритмом. В ритме мы обнаружим такты тела, а в пафосе ритм души говорящего.

Тело, организованное тактом и выражением/подражанием, – это тело в танце. Танец и первое движение символов в ритуале стоят за порядками второй схемы речи. Порядок танца – иная схема участия

телесности, усматриваемая нами в риторике и поэтике. Речь обретает продвижение, слушающий – участие, а язык – периоды, колоны, коммы, ударные и безударные слоги. Такому языку следует поэзия, такому телу – мистерия и театр. Такая речь – это ритм тела и дыхания, движения и остановки которого следуют ритму сердца, но не разума.

Мистериальные тела тесно смыкаются с движением символа в ритуале. Такты и схемы движения являются в мистерии событиями, происходящими с конкретными телами и в силу включенности движений и перемещений тела. Поэтому знаками событий и всякой дальнейшей классификации становятся телесные признаки и проявления, как например у описанных В. Тернером ндембу, картина мира которых определяется тройной оппозицией красного-белого-черного, являющихся символами напряженных телесных событий (кровотечение – истечение молока и семени – испражнение). Мистериальный порядок языка пребывает до конца в поэзии: с шумерских гимнов, отягченных многочисленными рефренами, соответствующими повторению ритуального танца, до Горация, открывшего строфу без внутреннего движения ритма с фиксированным числом слогов. Риторическая схема языка сопутствует поэзии.

Белый стих напоминает белый танец: и тот и другой при отсутствии мастерства превращаются в пустое топтание на месте. Автор как бы не решается приняться за прозу, поток которой слишком сложен и противоречив, но и стиха пока пугается: как бы с непривычки не споткнуться и не попасть в смешное положение. Но ритмы молчат, проза еще не родилась. Идеальные образчики белого стиха редки, а рядовые представители его унылы: в них нет ничего, чем бы можно было отвлечь читателя от собственно слов и собственных мыслей. Стих без рифмы древен, и он должен быть гораздо сложнее, чем привычные вирши. Греческое слово «rhythmos», породившее «ритм» и «рифму», означает «темп, соразмерность». Если мы хотим, чтобы наш стих без рифмы был «складным», чтобы он не казался манифестацией словесных приемов, принадлежащих науке стихосложения, надо сдерживать его течение (греч. «rheo») ритмом, и тогда он вновь обретет едва уловимое дрожание музыкального слова. Слова древних поэтов трудно изъять из текста, из звучания, из самого течения жизни человека тех времен, отделить его от ритма песен и ритма танцев, ритма работы и праздников.

Наше «открытие истинного Гомера» связывает «Илиаду» и «Одиссею» в одну цепь с мистериями Диониса и античным театром,

где в качестве языка предстают речи, организованные подобно мистериальным телам. Все это (и на первом месте трагедия) – организованная временность, переживание и сопричастность, входящая одновременно в порядки тела и языка.

Мистерия организует тело и язык не как указывание и высказывание, но как подражание (Аристотель. Поэтика 1447a-1448a) и повествование. Части речи становятся действующими телами и следуют друг другу самым причудливым образом. При этом учение о следовании частей по смыслу входит в риторику (Аристотель. Поэтика 1456a35), а учение о звуках, слогах, словах, грамматике и синтаксисе входит в поэтику (Аристотель. опять Поэтика 1456b20-1458b). Фигуры риторики («повторение», «противопоставление», «отступление», «собрание», «перестановка», «восхождение» и т.п.), ведя свое происхождение из поэтического искусства, приносят в речь мистериальные порядки (Квинтилиан, IX). В пределах риторики оказывается возможным соположение частей речи таким образом, чтобы они подтверждали друг друга, или своим контрастом противоречили друг другу, или, не будучи сводимыми, дополняли друг друга. В этих пределах возможна логика, соположение суждений и выяснение и взаимного отношения.

Осмелимся сказать, что величайшим иерархом, шумером, изъяснявшимся иероглифами, был Гегель – уникальное явление в истории духа. Философия у него становится священной мистерией, обнимающей все, просто все. Текст Гегеля труден с точки зрения даже немецкого языка, поскольку написан в действительности иероглифами. В тексте, записанном чуждыми подлинному гегелевскому языку приемами, тело Гегеля предстает расчлененным, так что его наследники имеют возможность причащаться его мудрости.

3

Властность речи не обнаруживает своей дискретности, то есть она по сущности нечленораздельна. Пауза (колон) в периоде обладает своим собственным статусом, не переставая быть элементом речи. Язык принципиально не обретает пространственной структуры до тех пор, пока речь, которой он говорится, не находит такого дискретного выражения, в котором пространство между элементами может быть заполнена вообще чем угодно. С таким порядком речи мы ныне встречаемся повсеместно – это порядок письма. Порядок письма ведёт к вычленению звуков, слогов, слов и словосочетаний

как взаимозаменяемых элементов, и таким образом является основанием для составления грамматики.

Порядок письма отменяет телесность, а точнее – включает такую телесность, которой обладает тело без органов (взгляд) или орган без тела (в случае Ницше – нога, в случае Хайдеггера – рука). Это, с одной стороны, сводит порядок письма и порядок голоса, а с другой стороны – включает принципиально иной зрительный ряд и исключает из речи непрерывность: чтение текста может быть остановлено в любой момент, к любому месту текста можно в любой момент вернуться; текст может тиражироваться без ограничения. Первая же схема речи принципиально непрерывна, а вторая – структурно прерывна. Текст стремится к дальнейшей прерывности своих элементов. Это позволяет конституировать в языке элементы таблицы и проводить многочисленные операции, неизбежно сказывающиеся на размытой телесности, включенной в текст.

Текст дает забавную возможность наиболее простым образом убедиться в том, что за словами стоят вещи. Коль скоро знаки письма могут быть расположены произвольно, причем ни один из них при этом не потеряет своей связи с элементом речи, следовательно, и язык также произвольно может оперировать с вещами, переставляя их в самом причудливом порядке.

Правда, толкователю хорошо известно и еще одно стремление текста – к единству и целостности, так что любая, пусть даже самая малая часть его, хоть и может делиться далее, но не может быть вырвана и читаться самостоятельно. На таком тексте отдыхает мысль, вождедеющая универсальности, но внимательная и к деталям.

Письмо переводит язык и речь в разряд того, что можно хранить и передавать – оно до известной степени отчуждает право голоса и переводит высказывание в архив, где им сможет воспользоваться кто угодно.

Имеется способ включения телесности в порядок текста – текст изобилует пробелами, недосказанностями, пустотами. В летописях часто можно встретить отрывки небольшого объема, в которых, однако, умещается целиком сведения о жизни отдельного человека, а подчас и нескольких поколений. Летописи – текст наиболее явный, открытый и предназначенный для чтения, однако, на то она и летопись, чтобы что-то осталось вне ее пределов. Благодарный читатель летописного свода, разумеется, не может претендовать на это нечто, поскольку летописец, несомненно, всегда выступает как благодетель.

тель подрастающего поколения, сохранивший хотя бы малую толику из того, что, в противном случае, неизбежно было бы забыто. И все же чтение текста подобного рода всегда оставляет чувство незавершенности, недоговоренности того, о чем рассказывается. Другим примером здесь может служить паспорт, в котором можно обнаружить все основные сведения, достаточным образом удостоверенные и тщательно выбранные из таких источников, которые часто ускользают из-под зоркого взора современников. Причем, хорошо видно, что структура такого документа, как паспорт, представляет собою повторение структуры летописи, однако летопись выступает в нем расчлененной и распавшейся. Паспорт представляет собою частный случай энциклопедии, повторенную в наиболее важных частях энциклопедическую статью. При этом паспорт являет сферу действия, энциклопедия же — сферу истории, систему, напрямую заменяющую для нас летопись. Паспорт можно с легкостью получить, проведя срез через те категории, которыми организована энциклопедия. Нетрудно заметить, что последовательности летописи и энциклопедии не совпадают друг с другом; они, скорее, пересекли бы друг друга, если бы совпали в каком-либо горизонте. Последовательность летописи организована мыслимым как единый от рождения Спасителя и до Суда поток временем; категориями, по которым объединяются сведения, являются организованные в таком времени даты. Последовательность энциклопедии составлена систематически; ее категориями являются разделы, среди которых есть и временной, а точнее временные разделы. Имеется единое время всех рождений и отдельное от него время всех смертей.

Читатель или слушатель, имеющий дело с такими порядками исторического текста, вынужден вплетать в скрытые его пустоты свою собственную биографию, причащаясь к Телу Христову или становясь членом общества. Он занимает это сокрытое место и при чтении энциклопедии, и присутствуя на службе.

Говоря о текстуальности языка и речи, мы можем говорить и о текстуальности тела. При этом текстуальное тело в порядках повседневности может присутствовать даже как функция.

Современный язык характерен своей текстуальностью. Хорошее владение языком оценивается в первую очередь как хорошее владение письменным языком; правильна та речь, которая адекватно конвертируется в текст без малейших стилистических изменений. Пространственный дискретный характер этой схемы нашел свое выра-

жение даже в технике записи: это переход от линейной, фактически внепространственной системы письма пером к набору текста на клавиатуре. Право голоса фактически означает право на текст.

В классическом тексте просматривается мистериальный строй – тест-чтение и текст-письмо есть непрерывное движение и означивание, включающее, однако, сопутствующие коды, которые могут быть выявлены при анализе текста.

Заключение

О чем и как говорит философ? Находится ли он у края зияющей бездны или его окружает дружелюбный круг вещей? Способен ли философ, подобно гадальщику или магу, призвать мир, собрать его вокруг себя или собрать себя в мире? Будут ли эти загадки разгаданы? Может ли наш взор быть неослепленным, движения – символами (в терминологии А. Арто – «иероглифами»), а мы сами – подобными тем существам, которые вне платоновой пещеры носят на плечах подлинные образцы вещей? В чем отличие нашего языка от того, который использовали ведийские мудрецы, чья мысль – внутреннее священнодействие – была миром, который был телесным воплощением изначального звука?

«Неклассическое» философствование чувствует, что мысль – собственно человеческое – противостоит тому, бессилие перед чем заставляет именовать его дофеноменальным и доэмпиричным. Мысль, обнаружив себя посреди мира, по прошествии около шестисот лет забеспокоилась о природе того слуги, услугами которого так долго и безнаказанно пользовалась. Язык перестал являться как орудие, при помощи которого мысль с переменной долей успеха обнаруживает свое присутствие. Классическая новоевропейская аналитика сознания натолкнулась на ряд трудностей в объяснении из собственных оснований некоторых специфически «человеческих вещей», среди которых язык оказался не на самом последнем месте. Наиболее же удручающее обстоятельство заключалось в том, что среди таких необъяснимых сущностей оказалось и само мышление.

Когда кто-то пытается начать говорить как философ, всегда найдется кто-нибудь другой, кто отметит, что в произносимом нет ни доли смысла и важности, что так вопрос ставить нельзя, что об это вообще невозможно говорить, а если и можно – то не такими словами, а если и такими – то это должен говорить не тот, кто говорит... И этот голос должен быть услышан: в такой речи есть то животре-

пешущее, всегда обращающее на себя внимание – напряженная и искренняя забота об истине. Правда сам говорящий, подчас, заботится только о себе. Если обращение философа к любой проблеме немислимо без обращения к собственным основаниям (может даже показаться, что сама проблема интересует философа только как более или менее удачный повод, – хлебом не корми, а только дай основания прояснить), если без вопроса, как теперь, коль скоро явилась новая проблема, быть с нашими основаниями, то философ, обратившийся к «языку» (фраза явно затянулась), попросту обязан прежде прояснить основания собственного говорения. А там, глядишь, и само все прояснится. «Чудо» философии в том, что помимо себя самого и истины вообще ничего не требуется: только основания определи, и проблема уже решена, а последователи дальше все сами подробно распишут. Однако чем дальше, тем все труднее и труднее даже попросту открыть рот: «а как вообще возможно говорить?» И как можно писать о языке, когда, казалось бы, пишет сам язык, причем на своем собственном языке? Читателям Витгенштейна хорошо известно, что о том, о чем нельзя говорить, о том нужно молчать, но философы при этом говорят именно о том, о чем и нужно молчать. (Возможно, здесь Витгенштейн лукавил, и «Логико-философский трактат» есть свидетельство его собственного неизреченного опыта). Если имена произвольны и служат для запоминания и сообщения, то как возможно понимание: не предшествует же совместная мысль совместному говорению? Допустим, в основании все же лежит сложная и долгая дисциплинарная практика (языковая игра), но и здесь, как и в вопросе об идеях, возникает проблема строгой всеобщности, ведь само понятие тождественности так или иначе необходимо при разговоре о языке (по крайней мере, нечто всегда объявляется тождественным, повторенным, а нечто – нет). Преодолеть затруднение, кажется, позволяет иной подход: обратить внимание на говорящих и на саму речь.

Выражение «говорить на языке» указывает на особенное положение языка по отношению к говорящему: язык есть основание говорящего. Лишение языка способно выбить почву из-под ног не только у говорящего, но и у слушающего. Мир языка быть весьма узким, так что мы видим то, что за его границами, и тогда узкой кажется уже сама философия языка. Но этот мир может таким «широким», что мы вообще перестаем видеть. Формируется понятие о том, что происходит нечто помимо слов, что оказывается для нас

более фундаментальным. И у философа появляется страстное желание отступить в сторону, освободиться от языка, представить себя непричастными его делам, дать языку возможность самому говорить за себя и себя скомпрометировать. Мы представляем себе, будто есть некий иной язык, отличный от нашего, философского, и мы заставляем этот язык говорить на нашем языке. Однако представляется, что отношения между языком и мыслью все же не такие уж напряженные и драматичные.

Может быть, язык – изобретение недавнее, и конец его, возможно, очень близок.

Литература

- Аристотель. Поэтика // Сочинения в 4-х томах. Т.4. М., 1983.
Барт Р. S/Z. М., 1994.
Бибихин В.В. Язык философии. М., 1993.
Вико Дж. Основания новой науки. М. – Киев, 1994.
Витгенштейн Л. Философские работы. Ч.1. М., 1994.
Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М, 1991.
Гадамер Г.-Г. Истина и метод. М, 1988.
Григорий Нисский. Об устройении человека. СПб., 1995.
Исократ; Квинтилиан // Античные теории языка и стиля. СПб., 1996.
Мерло-Понти М. В защиту философии. М., 1996.
Платон. Собрание сочинений в 4-х т. М., 1994.
Потебня А.А. Слово и миф. М., 1989.
Рикер П. Конфликт интерпретаций. М., 1995.
Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию, М., 1977.
Сухачев В.Ю. Герметизм тел и герменевтика телесной практики // Метафизические исследования. Вып.1: «Понимание». СПб., 1997.
Тернер В. Символ и ритуал. М., 1983.
Фуко М. Археология знания. Киев, 1996.
Фуко М. Слова и вещи. СПб., 1994.
Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М., 1996.
Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997.
Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.